

Я. С. ЛУРЬЕ

К изучению летописного жанра

Среди памятников древнерусской литературы летописи занимают совершенно исключительное место. Русское летописание, сложившись уже в XI в., непрерывно продолжалось до XVI в.; отдельные памятники летописания продолжали возникать и в XVII—XVIII вв. Поразительную устойчивость (вплоть до XVI в.) обнаруживали и основные жанровые признаки летописания: почти все летописи представляют собой большие своды, охватывающие историю Русской земли от ее начала до своего времени; единицей изложения служат погодные статьи, включающие в себя и краткие известия и обширные рассказы о наиболее важных событиях; летописи не имеют индивидуальных авторов и чрезвычайно редко включают в свой состав замечания от первого лица. Устойчивые признаки русского летописания отличали его от памятников средневековой историографии других народов. Если употреблять западную терминологию, то русские летописи следует считать не «хрониками» (как обычно переводят их наименование на иностранные языки), а анналами: в анналах изложение также строилось по годам, авторство было коллективным и по большей части анонимным.¹ Но жанр анналов уже в позднем средневековье стал на западе редкостью (их вытеснили хроники); они никогда не имели такого широкого и общенационального значения и таких объемов, как на Руси.

Вопрос о художественном значении летописи был поставлен в литературоведении относительно недавно — старая филологическая наука этим вопросом, в сущности, совсем не занималась. В единственном дореволюционном исследовании о летописи как «памятнике литературном», принадлежащем М. И. Сухомлинову, вопрос этот трактовался весьма односторонне: Сухомлинов говорил только о «языке и слоге древней летописи», отмечая, что при позднейших переработках летописных рассказов синтаксис их становился более совершенным, но зато язык терял «первобытную свежесть и свой естественный колорит»; он сравнивал манеру изложения в летописях и в других средневековых хрониках² и этим, в сущности, ограничивался — основная часть его работы была посвящена вопросам истории древнейшего летописания, его источникам и т. д.³

¹ Ср.: Н. Grundmann. *Geschichtsschreibung im Mittelalter. Gattungen—Epochen—Eigenart.* Göttingen, 1965, стр. 24—28.

² М. И. Сухомлинов. *О древней русской летописи, как памятнике литературном* (оттиск из «Ученых записок» 2-го отделения АН, кн. III). СПб., 1856, стр. 182—222.

³ М. И. Сухомлинов отмечал наличие у летописца «целей литературных», доказательством чего служит помещение наряду со статьями, имевшими «прямое отношение

Споры о летописи как о литературном памятнике, о возможности ее изучения с этой точки зрения велись среди литературоведов как раз в предреволюционные и первые послереволюционные годы. Переноса на древнюю Русь систему жанров новой литературы, филологи, занимавшиеся синтетическим исследованием русской литературы, склонны были относить летопись к «научным» или публицистическим жанрам, включая в литературу в точном смысле слова только «Слово о полку Игореве», жития и апокрифы.⁴ Возражая против подобного механического разделения памятников древнерусской письменности, В. Н. Перетц еще в 1914 г. писал, что «мы всегда имеем в литературном произведении любого содержания сторону, подлежащую изучению историка литературы», и что исключать из «явлений древнерусской литературы» такие памятники, «которые преследуют свои особые цели, нет никаких оснований».⁵

Особое, весьма важное значение для изучения летописей как литературных памятников имели труды А. А. Шахматова. Уже в одной из первых работ по летописанию А. А. Шахматов подчеркивал, что летописи были «литературными произведениями»; возражая И. А. Тихомирову, рассматривавшему летопись как точную и объективную хронику событий, Шахматов подчеркивал, что летописец ощущал себя «полным и безответственным хозяином накопленного материала».⁶ К этой мысли А. А. Шахматов возвращался и впоследствии. «Исторические факты дошли до нас в литературной традиции, в литературных памятниках, они светят сквозь тусклую призму литературных памятников» — писал он в 1915 г. В. Пархоменко.⁷

В чем смысл этих замечаний? Призывая к рассмотрению летописи как литературного памятника, А. А. Шахматов вовсе не имел в виду изучение художественной системы летописцев. Литературоведческим анализом в этом смысле он никогда не занимался (эта задача, как мы увидим далее, была поставлена только в советской литературоведческой науке). Он имел в виду иное: необходимость исследования литературной истории каждого летописного памятника, такого филологического исследования, которое обязательно должно предшествовать использованию отдельных известий летописи как исторического источника.⁸ В этом же смысле о «литературном анализе» летописи писал в 1947 г. и Б. А. Романов: «После того, что сделано в изучении русского летописания

к действительности» (договоры с греками, Русская Правда), статей, не предназначенных «для какого-либо исключительного употребления» (там же, стр. 5). О появлении в летописи, несмотря на ее малое отношение «к литературе в смысле художества», отдельных эпизодов «чисто поэтического творчества» писал и А. Н. Пыпин (История русской литературы, т. I. СПб., 1898, стр. 284).

⁴ Н. К. Пиксанов. Старорусская повесть. М.—Пгр., 1923, стр. 40—43; П. Н. Сакулин. Синтетическое построение истории литературы. М., 1925, стр. 38. Против такого взгляда, распространенного среди педагогов-словесников, еще в 1916 г. выступал А. И. Белецкий (О преподавании древнерусской литературы в средней школе. «Наука и школа», Харьков, 1916, № 1, стр. 15—18).

⁵ В. Н. Перетц. Из лекций по методологии истории русской литературы. Киев, 1914, стр. 220. Ср.: А. С. Орлов. Древняя русская литература XI—XVI вв. Изд. 2. М.—Л., 1939, стр. 80.

⁶ А. А. Шахматов. Разбор сочинений И. А. Тихомирова «Обозрение сводов Руси Северо-Восточной». — Отчет о сороковом присуждении наград графа Уварова. СПб., 1899 (Записки АН по историко-филологическому отделению, т. IV, № 2/1), стр. 108.

⁷ В. Пархоменко. З листування з акад. О. О. Шахматовим. — «Україна», Київ, 1925, кн. 6, стр. 127.

⁸ Неправ поэтому А. Г. Кузьмин, противопоставляющий шахматовский взгляд на летописи «как литературные памятники» подходу историков, изучающих летописи «ради

А. А. Шахматовым (в плане литературоведческом) и А. Е. Пресняковым и М. Д. Приселковым (в применении к задачам исторического построения), мне оставалось только отказаться от «протокольной» трактовки летописных повествований в наивно-реалистическом роде и применить к ним метод литературного анализа, рассматривая их не как счастливо сохранившееся подобие «газетной», хотя и бедной, хроники, а как произведение данной исторической секунды с ее злобами дня, полемиками, тенденциями и борениями».⁹

Если исследование литературной истории летописных повествований и тех сводов, в состав которых входят эти повествования, является необходимым условием для историка, использующего их как источник, то тем более важно оно и для филолога, рассматривающего такие повествования как памятники искусства. Летописные повести и рассказы издавна включаются в курсы истории литературы; важнейшее место занимают они, например, в многотомной академической «Истории русской литературы» (где древнерусской литературе посвящены три первых тома), в университетских курсах А. С. Орлова, Н. К. Гудзия и других авторов. Что же представляют собой эти рассказы? Как связана их литературная история с историей летописей, в составе которых они читаются? Исследования по истории летописания дают прочную основу для решения этих вопросов. Последовательное сопоставление между собой множества параллельных текстов дошедших до нас летописей открыло целую систему летописных сводов, начиная с реально дошедших до нас летописей XIV—XVII в., включая их источники — своды XV, XIV и более ранних веков, и кончая древнейшими памятниками — «Повестью временных лет» и летописями XI в. Обращаясь к конкретным летописным повестям, мы в ряде случаев можем наметить основные этапы литературной истории соответствующей повести и указать ее вероятное происхождение.

К сожалению однако, результаты огромной работы А. А. Шахматова и его последователей далеко не всегда учитываются при конкретных исследованиях отдельных летописных рассказов. Судьба шахматовского наследия в науке несколько противоречива. Главной особенностью исследований А. А. Шахматова было, как мы уже отметили, привлечение и сплошное сравнение всех параллельных летописных текстов на всем их протяжении. Тем самым путь произвольного разложения сводов на отдельные рассказы, догадок об их возможном происхождении сменился путем гипотез, основанных на необходимости объяснения объективно существующих совпадений между сводами. Такие совпадения в ряде случаев с несомненностью доказывали существование непосредственных источников дошедших летописей — их протографов. Иное значение имели определения этих сводов-протографов (их датировка, географическое

получения исторической информации», и утверждающий, что «если филологов интересует прежде всего летописный свод и признаки, говорящие о его известной цельности, то историки всегда будут стремиться к его разложению» (А. Г. Кузьмин. 1) Рязанское летописание. М., 1965, стр. 4; 2) Начальные этапы древнерусского летописания. Автореф. дисс. на соискание уч. степ. доктора ист. наук, М., 1971, стр. 3, 9 и 11). Такое утверждение неверно и историографически (ибо первыми оценили шахматовский метод историки — А. Е. Пресняков и М. Д. Приселков, а отвергли его филологи — В. М. Истрин и Н. К. Никольский), и по существу. Филологов чаще всего интересуют не своды в целом, а отдельные летописные повести, а историкам (как, впрочем, и литературоведам) никак не следует забывать об общем характере и времени составления всего свода, из которого они извлекают то или иное известие, — иначе они не смогут понять тенденций и степени достоверности этого известия.

⁹ Б. А. Романов. Люди и нравы древней Руси. Изд. 2. М.—Л., 1966, стр. 10.

и политическое приурочение), и совсем уже иное — указание на еще более ранние источники, к которым своды могли восходить. Высказывая такие предположения, А. А. Шахматов не всегда имел возможность опираться на сравнение реальных летописей (за недостатком или отсутствием параллельных текстов) и прибегал, как и многие исследователи до него, к предположительному разложению свода на отдельные элементы. Главное своеобразие его метода заключалось, однако, в соотношении между доказанными и предположительными элементами построений: догадки А. А. Шахматова дополняли систему хорошо обоснованных фактических наблюдений и гипотез и основывались на ней; построения его предшественников (и оппонентов, отвергавших метод А. А. Шахматова) обычно были догадками на всем своем протяжении. Между тем литературоведы и историки, когда им приходится (в общих курсах или в исследованиях отдельных повестей) обращаться к трудам А. А. Шахматова, чаще всего используют именно наименования и определения гипотетических сводов, и не только сводов, непосредственно отразившихся в дошедших до нас летописях, но и их предполагаемых предшественников. Они говорят об этих сводах как о реально существующих памятниках, но не отмечают и не учитывают главного: на чем именно основаны соответствующие предположения А. А. Шахматова.

В курсах древнерусской литературы неизменно перечисляются, например, такие гипотетические своды, которые сам А. А. Шахматов скромно именовал «учеными фикциями»,¹⁰ — «Древнейший Киевский свод» 1039 г., «Древний Новгородский свод» 1050 г., «Первый Киево-Печерский свод» 1073 г., «Второй Киево-Печерский свод» 1095 г., «Летописец великий русский» 1389 г., «Владимирский Полихрон» 1418—1423 гг. и т. д., но из этих курсов читатель почти ничего не узнает о том, как доказывалось существование этих сводов и в каких реально дошедших летописях они отразились.¹¹ Несколькo более осторожно поступает в этом случае И. П. Еремин. Он приводит две схемы древнейшего летописания — А. А. Шахматова и В. М. Истрина, а затем спрашивает: «Какая же из этих двух схем — Шахматова или Истрина — ближе к действительности?». «Что касается меня, то — скажу честно, не знаю, которая из этих гипотез ближе к истине, — отвечает на свой вопрос И. П. Еремин. — Очень возможно — ни та, ни другая».¹² Однако, возбуждив таким образом у читателя плодотворные научные сомнения, ученый, к сожалению, ничего не сделал для того, чтобы помочь ему такие сомнения разрешить: как и другие авторы курсов, он не упомянул (хотя бы в самой краткой форме) те основания, которые побудили А. А. Шахматова предположить существование определенных сводов, а лишь перечислил два ряда (шахматовский и истринский) гипотетических дат.

Догматически излагая выводы А. А. Шахматова по истории летописания, литературоведы и историки гораздо реже обращаются к его исследованиям при характеристике отдельных летописных повестей и рассказов. Принадлежность повести (или одного из ее видов) к летописи обычно лишь констатируется — без указания на характер соответствующей

¹⁰ А. С. Шахматов. Заметки о древнейшей истории русской церковной жизни. — Научный исторический журнал, т. II, вып. 2 (№ 4). СПб., 1914, стр. 45.

¹¹ А. С. Орлов. Древняя русская литература XI—XVI вв., стр. 79—80 (излагая шахматовскую схему киевского летописания, А. С. Орлов, однако, вслед за В. М. Истриным, присваивает уже древнейшему своду первой половины XI в. наименование «Повести временных лет»); Н. К. Гудзий. История древней русской литературы. Изд. 7. М., 1966, стр. 51—54, 255—256.

¹² И. П. Еремин. Лекции по древней русской литературе. Л., 1968, стр. 39—42.

шей летописи и ее место в системе сводов.¹³ Совершенно недостаточно, например, учитываются наблюдения А. А. Шахматова и его последователей при характеристике летописных повестей о борьбе с татарами в конце XIV в. Повести эти почти неизменно рассматриваются как произведения современников, написанные по горячим следам событий, а судьба их в истории летописания определяется самым приблизительным образом. Характеризуя летописную повесть о Мамаевом побоище, А. С. Орлов ограничивался, например, указанием, что она «помещена была в летопись не позднее второй четверти XV в.», а Н. К. Гудзий замечал, что эта повесть «в позднейшей распространенной переработке вошла во все редакции Н4Л, затем в С1Л, в Воскресенскую и в некоторые другие».¹⁴

Так же мало связывается с историей летописания судьба летописных повестей о борьбе с татарами и в работах, где эти повести специально рассматриваются как исторические и литературные памятники. Разбирая летописные повести о Мамаевом побоище и о нашествии Тохтамыша на Москву в 1382 г., М. Н. Тихомиров высказал мнение, что наиболее ранние рассказы об этих событиях содержатся в Ермолинской летописи; рассказы, читающиеся в С1Л, Н4Л и более поздних сводах, восходят к рассказам Ермолинской летописи. К мнению М. Н. Тихомирова присоединился и Л. В. Черепнин; тот же взгляд на происхождение повести о Тохтамыше высказал и литературовед Н. И. Тотубалин. Но ни один из этих авторов не дал сколько-нибудь развернутого обоснования своей точки зрения: главной причиной, побудившей их считать первичными оба рассказа Ермолинской летописи, является, по-видимому, краткость этих рассказов по сравнению с более распространенными вариантами в С1Л, Н4Л и других летописях.¹⁵ Однако относительная краткость рассказов сама по себе не может служить доказательством их первичности.

¹³ Так, характеризуя «Послание архиепископа Новгородского Василия ко владыке Тферскому Феодору», А. С. Орлов писал, что это произведение было занесено «в Новгородскую летопись под 1347 г.» (А. С. Орлов. Древняя русская литература XI—XVI вв., стр. 169). Между тем Послание Василия читается не в Новгородской, а в С1Л; восходило оно, по-видимому, к «Своду 1448 г.» — скорее общерусскому, чем новгородскому памятнику (хотя само Послание происходило, очевидно, из Новгорода). Упомянув о том, что «Хождение за три моря» Афанасия Никитина читается в летописи, литературоведы либо никак не характеризуют соответствующий летописный свод (С2Л и Львовская летопись), либо определяют этот свод как «официальный государственный» (Н. В. Водовозов. История древней русской литературы. Учебное пособие для институтов. М., 1958, стр. 184). Между тем соответствующий свод представляет собой летопись, резко оппозиционную по отношению к великокняжеской власти (ср.: Я. С. Лурье. Подвиг Афанасия Никитина. — Известия Всесоюзного Географического общества, т. 99, 1967, № 5, стр. 435—437).

¹⁴ А. С. Орлов. Древняя русская литература XI—XVI вв., стр. 155; Н. К. Гудзий. История древней русской литературы, стр. 232. Непонятно, по какой летописи пересказывает повесть о Мамаевом побоище Н. В. Водовозов: в свой пересказ он включает детали (засадный полк) из внелетописного «Сказания о Мамаевом побоище», соединившиеся с летописной повестью только в летописях XVI в. (Никоновская летопись) (Н. В. Водовозов. История древней русской литературы, стр. 137—141).

¹⁵ М. Н. Тихомиров. 1) Древняя Москва. М., 1947, стр. 192—194; 2) Средневековая Москва в XIV—XV вв. М., 1957, стр. 247—250; 3) Куликовская битва 1380 г. — В кн.: Повести о Куликовской битве. М., 1959, стр. 345—346; Л. В. Черепнин. Образование Русского централизованного государства в XIV—XV вв. М., 1960, стр. 596—597, 619—620, 632—633; Н. И. Тотубалин. Повесть о московском взятии от царя Тохтамыша. — В кн.: Русские повести XV—XVI вв. М.—Л., 1958, стр. 369 и 373—374. Для рассказа Ермолинской летописи о нашествии Тохтамыша М. Н. Тихомиров считал «датирующим указанием» замечание о разорении Рязанской земли московским войском, «потому что в 1385 г. Дмитрий Донской помирился с Олегом Рязанским, и в летописях уже не встречается столь резких выра-

Мнение о первичности рассказов 1380—1382 гг. в Ермолинской летописи по сравнению с С1Л и Н4Л и другими летописями никак не подтверждается и более широкими наблюдениями по истории летописания.

Из числа летописных сводов XV в. наиболее древним является, очевидно, свод 1408 г., содержащийся в Троицкой летописи (эта летопись погибла во время пожара 1812 г., но текст ее может быть восстановлен по выпискам Н. М. Карамзина, Симеоновской летописи и некоторым другим источникам). Следующим известным нам этапом в истории русского летописания следует считать свод, лежащий в основе С1Л и Н4Л («Новгородско-Софийский свод» или «Свод 1448 г.»), — двух летописей, дошедших во многих списках и вариантах и совпадающих между собой на большом протяжении — от начала летописи до 1418 г. С1Л, в свою очередь, была источником целого ряда московских великокняжеских сводов второй половины XV в. Судьба рассказов о Куликовской битве и походе Тохтамыша XV в. была связана с судьбой летописных сводов, в состав которых она входила. Первоначальными версиями этих рассказов были относительно краткие известия Свода 1408 г. (Троицкой летописи), дошедшие до нас в Симеоновской летописи. Оба эти рассказа были использованы и значительно распространены в «Новгородско-Софийском своде». Рассказ С1Л перешел (с некоторыми изменениями) в московские великокняжеские своды.¹⁶ Какого же происхождения рассказы о событиях 1380—1382 гг. в Ермолинской летописи? Состав и происхождение первой части Ермолинской летописи (до 1425 г.) были исследованы А. Н. Насоновым, показавшим, что в основе этой части Ермолинской летописи лежит тот же источник («Свод Феодосия—Филиппа» 60-х гг. XV в.), по которому была дополнена и одна из великокняжеских летописей — Московский свод 1479 г.¹⁷ Этот летописный текст был явно вторичным по отношению к «Новгородско-Софийскому своду»; никаких примеров влияния Ермолинской летописи (или «Свода Феодосия—Филиппа») на С1Л и Н4Л мы не знаем. Если бы рассказы Ермолинской летописи о Мамаевом побоище и нашествии Тохтамыша были (как думают упомянутые выше авторы) первичны по отношению к рассказам «Новгородско-Софийского свода», то это обстоятельство требовало бы специального объяснения и, возможно, даже пересмотра общих взглядов на историю летописания XV в.

жений...» (М. Н. Тихомиров. Средневековая Москва в XIV—XV вв., стр. 249—250). Но приведенная фраза (которая могла быть написана и значительно позже — после смерти Дмитрия и Олега) читается совершенно одинаково и в Ермолинской, и в С1Л—Н4Л, и в Московском своде конца XV в. (ПСРЛ, т. IV, СПб., 1848, стр. 90; т. XXIII, СПб., 1910, стр. 129; т. XXV, М.—Л., 1949, стр. 210); она не имеет поэтому особого датирующего значения для Ермолинской летописи. То же можно сказать и о замечаниях о мужестве Дмитрия Донского во время Куликовской битвы, которые читаются в Ермолинской летописи и в которых Л. В. Черепнин (стр. 619) усматривает черты полемики со «Сказанием о Мамаевом побоище». Но эти замечания также читаются во всех перечисленных летописях (ПСРЛ, т. IV, стр. 81; т. XXIII, стр. 126; т. XXV, стр. 204). Если они представляют собой полемику со «Сказанием», то это говорит как раз об относительно позднем происхождении летописного рассказа, ибо «Сказание» создано уже в XV в. (ср.: Л. А. Дмитриев. К литературной истории «Сказания о Мамаевом побоище». — В кн.: Повести о Куликовской битве, стр. 421—423).

¹⁶ Зависимость рассказов о Куликовской битве и нашествии Тохтамыша в «Новгородско-Софийском своде» (и последующих сводах) от рассказа Троицкой (Симеоновской) летописи доказана М. А. Салминой. Ср.: М. А. Салмина. «Летописная повесть» о Куликовской битве и «Задонщина». — В кн.: «Слово о полку Игореве» и памятники Куликовского цикла. М.—Л., 1966, стр. 345—348 и 355—364.

¹⁷ А. Н. Насонов. История русского летописания XI—начала XVIII в. М., 1969, стр. 260—274.

Однако текстологическое исследование обоих рассказов, как нам представляется, не только не опровергает, но, напротив, подтверждает более широкие данные о соотношении соответствующих летописных сводов в целом. М. А. Салмина показала, что рассказ о Куликовской битве в Московском своде и Ермолинской летописи представляет собой не первичный текст, а сокращение (в Ермолинской более значительное, чем в Московском своде) повести «Новгородско-Софийского свода» (С1Л—Н4Л); в Ермолинской летописи обнаруживаются непоследовательности, свидетельствующие о вторичности текста.¹⁸ Сходные наблюдения могут быть сделаны и над рассказом о нашествии Тохтамыша в 1382 г. Сопоставление текстов С1Л—Н4Л, с одной стороны, и Московского свода — Ермолинской, с другой, свидетельствует о сокращении первоначального рассказа в Ермолинской и Московском своде. В своде, лежащем в основе С1Л—Н4Л, москвичи, оборонявшие город в отсутствие князя, оценивались резко отрицательно: «...ввсташа вечем народи мятежници, недобрини человеци, людие крамолници: хотящих изыти из града не токмо не пушаху вон из града, но и грабляху, ни самого митрополита постыдишеса, ни бояр нарочитых...».¹⁹ В Московском своде текст сокращен, фраза о москвичах читается так: «...и сташа суймом народи, мятежников же и крамольников, иже хотяху изыти из града, не токмо не пушаху, но и грабяху, ни самого митрополита не постыдишаса, ни бояр великих...».²⁰ Примерно так же построен текст и в Ермолинской летописи: «И сташа суймом, а инии по вратом, а инии на вратех на всех, не токмо пушати хотяху из града крамольников и мятежников, но и грабяху их, ни самого митрополита усрамилися, но на вся огрозишаса, ни бояр великих устрашишаса...». Как видим, в Московском своде и в Ермолинской слова «крамольники и мятежники» поставлены в ином падеже, чем в Н4Л—С1Л, и в таком контексте эти слова могут быть отнесены не к восставшим «суймом» горожанам, а к лицам, пытавшимся бежать из города. Осудительная оценка беглецов могла, вероятно, казаться летописцам более справедливой, чем осуждение защитников города, но вторичность этого варианта все-таки обнаруживается из того, что в конце фразы защитники города и здесь обвиняются в бесстыдстве и неуважении к боярам и митрополиту. Очевидно, первоначальный текст был написан лицом, вовсе не сочувствовавшим московским «вечникам» (которых, кстати, автору XV в. естественнее было назвать «мятежниками» и «крамольниками», чем беглецов-бояр).

О позднем происхождении рассказа Ермолинской летописи свидетельствуют и слова этого рассказа (отсутствующие и в Московском своде) о кремлевских стенах времени Дмитрия Донского — «еще бо тогда граду тому ниску сущу»,²¹ слова, которые можно было написать, очевидно, лишь после перестройки кремлевских стен в 80-х годах XV в.²²

Само собой разумеется, что построения исследователей по истории летописания XV в. вовсе не бесспорны; они могут и должны быть подвергнуты пересмотру, если обнаружатся новые данные, противоречащие таким построениям. Но для того чтобы быть убедительной, любая новая схема соотношений между летописями (и отдельными летописными рас-

¹⁸ М. А. Салмина. «Летописная повесть» о Куликовской битве и «Задонщина». стр. 347—349.

¹⁹ ПСРЛ, т. IV, стр. 85.

²⁰ ПСРЛ, т. XXV, стр. 207.

²¹ ПСРЛ, т. XXIII, стр. 128.

²² Первая известная нам перестройка Кремля (после построения каменного «града» в 1367 г.) относится к 1485—1488 гг. (ПСРЛ, т. XVIII, СПб., 1913, стр. 271—272).

сказами) должна, как и шахматовские схемы, строиться не на отдельных наблюдениях, а на учете всего относящегося к данной теме материала, всех летописей, содержащих исследуемый рассказ. После исследований А. А. Шахматова, писал М. Д. Приселков, «всякий исследователь должен теперь приступать к работе через изучение сводов, зародившихся в эту пору, как бы ни была трудна эта задача, потому что иначе он во многом не поймет, не сумеет прочесть, о чем и как говорит летописец».²³ Этот принцип, обязательный для историка, использующего летопись как источник, столь же обязателен для филолога, изучающего летописание как литературный жанр.

* * *

Исследуя художественное творчество древней Руси, советские литературоведы не раз обращались к летописям, высокие литературные достоинства которых были убедительно показаны в работах В. П. Адриановой-Перетц, И. П. Еремина, Д. С. Лихачева. Важнейшая роль летописания в развитии древнерусской литературы едва ли может вызывать сомнения у современных литературоведов.

Но не сомневаясь в правомерности включения летописей в курс древнерусской литературы, литературоведы иногда впадают в иную крайность: они совсем стирают грань между летописанием и собственно художественными жанрами (такими, например, как повесть), объясняя все особенности летописей, отличающие их от современной литературы, особенностями «эстетического сознания» древней Руси.

Особенно последовательно проводил эту точку зрения И. П. Еремин в монографии «Повесть временных лет». Книга И. П. Еремина не может рассматриваться как исследование, противостоящее по своему методу работам А. А. Шахматова: хотя И. П. Еремин и отвергал мнение А. А. Шахматова (и М. Д. Приселкова) о политической пристрастности летописца,²⁴ но он не учитывал, что это мнение было выводом, сделанным в результате сравнения текстов, — метода исследования, приведшего к такому выводу (анализ изменений, внесенных последующими летописцами в предшествующие редакции), И. П. Еремин не разбирал и не оспаривал.²⁵ Но критическая часть — не главное в книге И. П. Еремина. Гораздо важнее и интереснее позитивные взгляды исследователя, а именно данная им характеристика «Повести временных лет» как литературного памятника. Своеобразие летописи по сравнению с литературными памятниками нового времени И. П. Еремин видел не только в особой «философии истории» у летописца (провиденциализм, вера в непосредственное вмешательство бога и дьявола в человеческие судьбы — взгляды, довольно обычные для средневекового автора), но и в особом художественном методе, состоящем во фрагментарности повествования (погодный принцип), в противоречивости образов (неоднократные «превращения» героев в злодеев и наоборот). Особенности эти, по мнению исследователя, носят характер внутренне-закономерной системы и могут рассматриваться

²³ М. Д. Приселков. Русское летописание в трудах А. А. Шахматова. — ИОРЯС, т. XXV, Пгр., 1922, стр. 134.

²⁴ И. П. Еремин. Литература древней Руси. М.—Л., 1960, стр. 59—64; ср.: И. П. Еремин. Лекции по древней русской литературе, стр. 37—38.

²⁵ Мы не можем поэтому согласиться с Ю. М. Лотманом, считающим, что И. П. Еремин, «стремясь опровергнуть безусловность шахматовских реконструкций, попытался опровергнуть правомерность тех дифференциальных признаков, из которых Шахматов построил элементы своей системы, и предложить новые...» (Семиотика. Труды по знаковым системам. Вып. III. Тарту, 1967, стр. 364).

«как прямое отражение своеобразной „неэвклидовой геометрии“ его, летописца, не только исторического, но и художественного мышления — его стиля».²⁶

Наблюдения И. П. Еремина над «Повестью временных лет» заслуживают внимания при любом взгляде на историю этого памятника. Конечно, противоречивость некоторых исторических образов, о которых писал И. П. Еремин, могла объясняться противоречиями между источниками «Повести»: в рассказе о Святополке Изяславиче могли, например, соединиться дружественные известия, восходящие к Нестору, с враждебными сообщениями его предшественника и редактора.²⁷ Но, так или иначе, в «Повести» эти известия представлялись читателю в едином рассказе, следовательно, такая противоречивость не смущала летописца и может рассматриваться как отражение его литературных принципов. Для того чтобы подчеркнуть своеобразие художественного метода летописца, И. П. Еремин сопоставлял его с искусством нашего времени. Едва ли можно возражать против такого сопоставления. Л. В. Черепнин, справедливо упрекавший И. П. Еремина за неточную и неубедительную критику его предшественников, был совсем не прав, когда считал, что, сравнивая летописный рассказ с приключенческим фильмом, И. П. Еремин прибегал к «настоящей вульгаризации прошлого».²⁸ В упрек И. П. Еремину скорее следовало бы, на наш взгляд, поставить не это сравнение, а то, что оно было сделано не вполне серьезно — исследователь имел в виду не действительные особенности раннего киноискусства, а лишь впечатление, которое получает зритель, опоздавший на приключенческий фильм: «... действие в разгаре, герой мечется на экране, спешит, торопится, но куда и зачем спешит и торопится — непонятно».²⁹ Действительное же сопоставление древнего повествовательного искусства с ранним кино представляется нам вполне возможным.³⁰ Едва ли прав был Л. В. Черепнин и тогда, когда он напоминал И. П. Еремину, что «Повесть временных лет» — это «художественное произведение, подчиняющееся законам своего времени»: ³¹ именно из этого положения исследователь и исходил, всячески подчеркивая своеобразие древних художественных «законов».

Спор может идти скорее о другом — о причинах отмеченного И. П. Ереминым своеобразия летописного рассказа. Если исторический персонаж мог в «Повести временных лет» обретать «многосоставный облик», если он мог «перевосплататься» из злодея в героя и наоборот, то это объясняется, по мнению И. П. Еремина, своеобразием «художественного мышления» летописца. Но можем ли мы быть уверенными, что летописец в данном случае выступал как художник, что такого рода «мозаика» имела эстетическое назначение? Ведь летопись, несмотря на свои высокие художественные достоинства, была не только произведением искусства, но прежде всего историографическим и политическим памятником. А для историографии и политической публицистики «единство образа» персонажа — далеко не самая важная задача. К такому единству не всегда стремятся

²⁶ И. П. Еремин. Литература древней Руси, стр. 71—79. Ср.: И. П. Еремин. Лекции по древней русской литературе, стр. 48—52 и 60—61.

²⁷ А. А. Шахматов. «Повесть временных лет», т. I. Пгр., 1916, стр. XIII—XVIII; М. Д. Приселков. История русского летописания XI—XV вв. Л., 1940, стр. 36—42.

²⁸ Л. В. Черепнин. «Повесть временных лет», ее редакции и предшествующие ей летописные своды. — ИЗ, т. 25, М., 1948, стр. 300.

²⁹ И. П. Еремин. Литература древней Руси, стр. 43—44.

³⁰ Ср.: Я. С. Лурье. Сюжет на ранних стадиях повествовательного искусства (на материале древнерусской литературы). — РЛ, 1969, № 1, стр. 46—48.

³¹ Л. В. Черепнин. «Повесть временных лет», ее редакции и предшествующие ей летописные своды, стр. 300.

историки и в новое время. Об этом свидетельствуют, например, труды крупнейшего представителя русской историографии XIX в. С. М. Соловьева. Если Н. М. Карамзин, соединявший в себе писателя и историка, хотел объяснить загадочное сочетание в Иване Грозном «героя добродетели в юности» и «неистового кровопийцы в годах мужества и старости», если он старался «представить сей удивительный феномен в его постепенных изменениях», дать психологический портрет царя,³² то С. М. Соловьев совсем не ставил подобной задачи. Соловьева интересовало иное — исторические предпосылки политики Ивана IV, связь этой политики с предшествующим развитием России; о психологическом «единстве образа» он не беспокоился, иронически отзываясь о стремлении своих предшественников «дать единство характерам исторических лиц».³³ Именно поэтому, повествуя о различных поступках царя и событиях его царствования, С. М. Соловьев без затруднений пересказывал самые различные источники — сочинения Курбского (в частности, известный рассказ о мученичестве князя Репнина) и послания самого Грозного, официальные посольские дела и житийный рассказ о мученичестве митрополита Филиппа и т. д. В результате мы находим в повествовании С. М. Соловьева такой же «сводный образ» и такое же сочетание «разных стилистических систем», какое может быть отмечено в летописи, — черты публицистического стиля соединяются с документальными элементами, проникают в рассказ и элементы агиографического стиля (из Жития Филиппа). Но если такое сочетание стилей в историографическом труде XIX в. вытекает из поставленных в нем задач (и нисколько не мешает нам), не следует ли считать, что и у летописца XII в. оно также объяснялось специфическими задачами историографического жанра, а не особенностями «художественного мышления» того времени?

Высказанные здесь замечания вовсе не имеют целью снять проблему специфичности древнерусского повествовательного искусства. Эта специфичность (крайняя условность при изображении психологии героев на сколько-нибудь значительном протяжении действия наряду с весьма ярким и психологически убедительным описанием конкретных поступков) обнаруживается и в памятниках с единым сюжетом, например в повестях.³⁴ Но летописание — не лучший вид письменности для решения этой проблемы. При исследовании летописей как литературных памятников необходимо учитывать их «сводный», многосоставный характер. Такой характер летописания делает весьма сомнительными характеристики летописей в целом как единых литературных памятников. С точки зрения истории древнерусской письменности летописание может рассматриваться как единый и очень устойчивый по своим признакам жанр, но с литературно-художественной точки зрения это скорее конгломерат нескольких жанров, имевших разное происхождение и неодинаковое художественное значение. Чтобы оценить летописи XI—XVII вв. как памятники литературы, нужно учитывать, что удельный вес их отдельных жанровых элементов за это время существенно менялся.

Наиболее элементарной частью летописного повествования была погодная запись; в XII—XVI вв. такие записи постоянно велись в центрах летописания (при дворах князей и епископов, в монастырях и т. д.) и

³² Н. М. Карамзин. История государства Российского, т. IX. СПб., 1892, стр. 3—11, 274—275.

³³ С. М. Соловьев. История России с древнейших времен, кн. II, т. VI—X. СПб., 1896, стлб. 328.

³⁴ Ср.: Истоки русской беллетристики. Возникновение жанров сюжетного повествования в древнерусской литературе. Л., 1970, стр. 566—570.

могут считаться основой, на которой строился более развернутый летописный рассказ. Но из этого не вытекает, что погодная запись — древнейшая форма летописного повествования.³⁵ Напротив, как обнаружил А. А. Шахматов, точные даты появляются в киевском летописании лишь с 60-х годов XI века.³⁶ Следовательно, только с этого времени можно предполагать систематическое ведение погодных записей. В более древних частях летописи даты явно вставлены задним числом в сплошной недатированный летописный рассказ. Таким образом, древнейшее летописание до середины XII в. было не «лето-писанием» в точном смысле этого слова, а группой сказаний о наиболее важных событиях прошлого.³⁷ В формировании первоначального ядра русского летописания важнейшую роль играла устная традиция — фольклор.

«Повесть временных лет» начала XII в. была уже сочетанием различных элементов: эпических сказаний легендарно-фольклорного происхождения, рассказов о важнейших исторических событиях и кратких погодных записей чисто информационного характера. Наиболее ясна художественная природа первого из этих элементов — эпических сказаний (преданий). Предания о смерти вещего Олега, о мести Ольги древлянам, о единоборстве юноши-кожемяки с печенегом, о белгородском киселе и т. д. обладают четко построенными, выразительными сюжетами (многие из них сходны со «странствующими сюжетами» мирового фольклора — о мудрой деве, загадывающей загадки, предсказанной судьбе и т. д.). Перед нами не «информация» о событиях (в этих случаях почти всегда легендарных), а именно сюжет — «концепция действительности», весьма выразительно (хотя и не всегда однозначно по конечному выводу) построенная.³⁸

Более сложен вопрос о художественной функции летописных рассказов, посвященных реальным, более или менее современным для летописца событиям. И. П. Еремин и другие исследователи справедливо отметили наличие двух литературных тенденций в такого рода рассказах: стремление к конкретному детализированному повествованию и склонность к идеализации, абстрагированию, литературным канонам.³⁹ Едва ли можно, однако, согласиться с И. П. Ереминым, когда он резко противопоставляет друг другу эти две тенденции, считая, что повествования первого типа (их он именует рассказами) имели те же функции, что и погодные записи: они просто фиксировали факты, не обнаруживая «признаков творческого переосмысления» и не возвышаясь «до каких-либо обобщений»; художественное мастерство летописца находило выражение в повествовании иного характера — абстрагированном, связанном с агиографическими канонами (летописные повести по определению И. П. Еремина).⁴⁰

Возражая И. П. Еремину, В. П. Адрианова-Перетц и Д. С. Лихачев убедительно показали, что летописец мог быть художником и тогда, когда он рисовал факты во всей их бытовой конкретности. Детали в подобных

³⁵ Ср. такую точку зрения в кн.: И. П. Еремин. Лекции по древней русской литературе, стр. 52.

³⁶ А. А. Шахматов. 1) Разыскания о древнейших русских летописных сводах. СПб., 1908, стр. 398—399; 2) Обзорение русских летописных сводов XIV—XVI вв. М.—Л., 1938, стр. 362.

³⁷ Ср.: Д. С. Лихачев. Русские летописи и их культурно-историческое значение. М.—Л., 1947, стр. 75—93.

³⁸ Ср.: Истоки русской беллетристики, стр. 27—28, 35—40.

³⁹ И. П. Еремин. Литература древней Руси, стр. 102—131; Д. С. Лихачев. 1) Человек в литературе древней Руси. М.—Л., 1958, стр. 33—64; 2) Поэтика древнерусской литературы. Л., 1967, стр. 129—133.

⁴⁰ И. П. Еремин. Литература древней Руси, стр. 113—114, 247—253.

рассказах имели далеко не только документальное значение. Подбирая их, автор помогал читателю увидеть изображаемую им картину, подсказывал свое отношение к описанным событиям. Такое значение имели, например, чрезвычайно выразительные детали в рассказе об ослеплении Василька Теребовльского князьями Святополком и Давидом (разговор с жертвой, овчарь, точащий нож, попадая, выстиравшая окровавленную рубашку). Они должны были вызывать у читателя ужас перед преступлением и сочувствие жертве.⁴¹

Художественное мастерство летописца проявлялось и в конкретных рассказах, и в идеализированных описаниях исторических персонажей. Но, конечно, уже в «Повести временных лет» наряду с рассказами-описаниями встречаются и чисто информационные сообщения-записи. Соединяя их в единое летописное повествование, составитель «Повести» едва ли думал о том, чтобы придать своему рассказу литературное единство, ибо летопись и в художественном отношении была для него сводом.

Соотношения между перечисленными здесь элементами летописного повествования — эпическими сказаниями фольклорного происхождения, рассказами об исторических событиях (конкретно-бытовых и абстрактно-идеализированных) и погодными записями — несколько видоизменяются в дальнейшей истории летописания после XIII в. Наиболее архаические формы летописания сохранились во второй части Ипатьевской летописи, представляющей собой Галицко-Волынскую летопись XIII в. Это — повествование без дат, подобное тому, которое, как предполагал А. А. Шахматов, существовало в Киеве до середины XI в. Богаче, чем в других летописях XII—XV вв., отражена в Галицко-Волынской летописи и фольклорно-эпическая традиция: здесь помещено, например, половецкое сказание о траве «емшан» (полыни), запах которой напомнил хану Отроку его далекую родину. В большинстве памятников летописания, продолжавшего «Повесть временных лет», преобладающее место получают рассказы об относительно недавних, с точки зрения летописца, событиях, основанные на своевременных (или близких по времени) записях. По мере накопления такого материала неизбежно должны были изменяться объемы, а вместе с ними и композиция летописных сводов. Важным этапом в этом процессе было создание упомянутого выше «Свода 1448 г.» («Новгородско-Софийского свода»), оразившегося в Н4Л и С1Л. Включив в свой состав богатый общерусский и новгородский материал, дополненный большими летописными повестями о событиях XIV в., свод этот неизбежно оказывался гораздо более обширным по объему, чем предшествующие летописи (это бросается в глаза даже в издании «Полного собрания русских летописей», где полный текст Н4Л не уместается в пределах одного летописного тома).⁴² Отсюда неизбежность какого-то членения этого обширного материала, появление нового приема, не известного более ранним сводам, — выделение отдельных повестей, отмеченных киноварными заголовками.⁴³ Летописцы, использовавшие «Свод 1448 г.», испытывали некоторые затруднения из-за его размеров, тем более что им нужно было еще

⁴¹ В. П. Адрианова-Перетц. О реалистических тенденциях в древнерусской литературе. — ТОДРА, т. XVI, М.—Л., 1960, стр. 12—16; Д. С. Лихачев. Анастезизм и древнерусская литература. РЛ, 1963, № 1, стр. 81—82. Ср. также наблюдения О. В. Творогова в кн.: Истоки русской беллетристики, стр. 32—35, 61—63.

⁴² ПСРЛ, т. IV, ч. I, вып. 1—3, Пгр.—Л., 1915—1929. В старом издании Новгородской IV летописи (ПСРЛ, т. IV, СПб., 1848), как и Софийской I (ПСРЛ, т. VI, СПб., 1851), текст дан с большими пропусками.

⁴³ В летописях, отражающих более ранние своды (Лаврентьевская, Ипатьевская, Н1Л, Троицкая), такой системы выделения отдельных повестей специальными заголовками нет.

дополнять его записями о последующих событиях. Составитель «Свода 1472 г.» (Никаноровская летопись и первая редакция Вологодско-Пермской летописи), восходившего к С1Л, сделал попытку сократить свой источник, изъяв из него и поместив в особую дополнительную часть повести о борьбе с татарами и о других важных событиях, но попытка эта, по-видимому, не имела успеха, поскольку в последующих сводах такого рода повести вновь помещаются внутри текста, выделенные заголовками.⁴⁴ Особенно важное место заняли вставные летописные повести в неофициальном своде конца XV в., легшем в основу двух летописей XVI в. — С2Л и Львовской. Уже в сводах XV—начала XVI в. повести о князьях (Сказание об Александре Невском в Лаврентьевской и последующих летописях, Сказания о Михаиле Черниговском и Михаиле Ярославиче, Слово о житии и преставлении Дмитрия Ивановича в «Своде 1448 г.») обнаруживали некоторые черты агиографического жанра; свод, отразившийся в С2Л—Львовской, прямо включил в свой состав несколько житийных рассказов — из житий Варлаама, Сергия, его ученика Никона и др.⁴⁵ В XVI в. размеры сводов продолжают увеличиваться за счет нового летописного и внелетописного материала (огромными объемами отличаются, например, Львовская, Воскресенская и Никоновская летописи). Такое расширение свидетельствовало уже о начинающемся кризисе летописания как жанра письменности. На смену ему стали появляться новые виды исторического повествования — Степенная книга, порвавшая с прежней системой погодного изложения и построенная как собрание княжеских житий, и летописи, охватывающие не всю историю Русской земли, а лишь одно или несколько царствований (Иоасафовская летопись, Летописец начала царства).

Две тенденции в построении таких рассказов, обнаруживающиеся уже в «Повести временных лет», — конкретное описание и идеализация — свойственны и летописанию XII—XVI вв.; эти тенденции могли даже сосуществовать в одном летописном рассказе. Примером такого сосуществования противоположных тенденций может служить рассказ об убийстве Андрея Боголюбского в Ипатьевской летописи: рядом с выразительнейшими конкретными деталями (разговор князя с заговорщиками, поиски украденного меча) здесь помещены вполне этикетные речи Андрея, подкрепляющие традиционную агиографическую характеристику князя-мученика.⁴⁶

Конкретное описание и идеализация не всегда мирно уживались в летописном изложении — тенденции эти иногда противостояли одна другой при переходе одних и тех же летописных рассказов из свода в свод. Выше мы уже упоминали повесть о нашествии Тохтамыша на Москву, читающуюся в ряде летописных сводов XV в. Наиболее ранний рассказ об этом событии, как мы уже указывали, помещен в Митрополичьем своде 1408 г. (Троицкой летописи). Это не описание события, а скорее плач или патетическое «плетение словес» по поводу взятия Москвы татарами

⁴⁴ См. об этом: Я. С. Лурье. Никаноровская и Вологодско-Пермская летописи, как отражение великокняжеского свода начала 70-х гг. XV в. (печатается в сборнике «Вспомогательные исторические дисциплины»).

⁴⁵ См. об этом в статье «Независимый летописный свод конца XV в. — источник Софийской II и Львовской летописей» (наст. том, стр. 412—413).

⁴⁶ Летопись по Ипатьевскому списку. СПб., 1871, стр. 394—402; ср.: Летопись по Лаврентьевскому списку. СПб., 1872, стр. 348—352. См.: Д. С. Лихачев. Русские летописи. . . , стр. 241—246; И. П. Еремич. Литература древней Руси, стр. 116—119. Интересные соображения об этом рассказе высказаны О. В. Твороговым в кн.: Истоки русской беллетристики, стр. 46—48.

в 1382 г.⁴⁷ Рассказ Троицкой летописи подвергся переделке в «Новгородско-Софийском своде», легшем в основание С1Л и Н4Л. Здесь помещено развернутое повествование об осаде и обороне города. Тенденции рассказа несколько противоречивы. Рассказчик, как мы уже упоминали, именует горожан, оборонявших город в отсутствие князя, «крамольниками» и «мятежниками». Но, стремясь не только сообщить об осаде, но и изобразить ее, он вводит ряд живых эпизодов и обращается для этого к рассказам очевидцев. Среди таких эпизодов — рассказ о московском суконнике Адаме, который, увидев с городской стены «единого татарина нарочита и славна», выстрелом из самострела «уязви сердце его гневливое».⁴⁸ Дальнейшей обработке рассказ о нашествии Тохтамыша подвергся в Московском своде 1479 г. в Ермолинской летописи: рассказ Ермолинской летописи оказался наиболее свободным от риторики первоначальной версии и наиболее динамичным по изложению из всех рассказов об осаде Москвы в 1382 г.⁴⁹

С конца XV в. летописание подверглось значительной унификации; официальная великокняжеская (а затем царская) летопись почти совершенно вытеснила остальные летописи. Сосуществование различных политических направлений в летописании стало невозможным, но противоречия между различными типами повествования обнаруживаются и в летописании XVI в. Склонность к идеализации, панегирическому стилю (особенно при описании деятельности монархов) была весьма свойственна летописям XVI в. — Воскресенской, Никоновской, Лицевому своду; однако рядом с пышными церемониальными сценами мы встречаем в летописях и конкретные описания с выразительными (и не только документальными) деталями.

Взаимодействие и борьбу этих двух повествовательных систем можно проследить, например, в многочисленных редакторских переделках рассказа о смерти Василия III — одного из самых драматических рассказов в летописании XVI в. В первоначальной версии рассказа, созданной уже в 1534 г. (С2Л по Воскресенскому списку), подробно описывалась болезнь Василия («Мала болячка на левой стороне на стегне... в булавочную голову», приведшая к заражению крови), его разговор с врачом Николаем Булевым, прямо сказавшим государю, что его болезнь «непособная (неизлечимая)», колебания Василия, хотевшего послать за сыном и боявшегося испугать трехлетнего Ивана: «Не хошу послати по сына своего... понеже сын мой мал, а яз лежу в великой своей немощи, и нечто бы мене дрогнул сын мой». Так же человечны и психологически естественны и другие слова и поступки умирающего князя — его попытка скрыть тяжесть своей болезни от молодой жены, которая так «кричала», что Василий не успел ей «ни единого слова наказати», разговор с братом о последних днях жизни их отца (Ивана III).⁵⁰ Рассказ о смерти Василия III был совершенно изменен в своде 1542 г., созданном во время «боярского правления» (Воскресенская летопись). Удалив упоминания о великой княгине (незадолго до того отравленной Елене Глинской), летописец заодно опустил все конкретные подробности последних дней Ва-

⁴⁷ М. Д. Приселков. Троицкая летопись. М.—Л., 1950, стр. 422—425 (источник реконструкции — ПСРЛ, т. XVIII, стр. 131—133, а также ряд цитат у Н. М. Карамзина).

⁴⁸ ПСРЛ, т. IV, СПб., 1848, стр. 84—89; т. IV, ч. I, Пгр., 1914, л., 1925, стр. 326—336; т. VI, СПб., 1853, стр. 98—102.

⁴⁹ ПСРЛ, т. XXIII, СПб., 1910, стр. 127—129. Ср.: Истоки русской беллетристики, стр. 268—269.

⁵⁰ ПСРЛ, т. VI, стр. 267—276.

силия III. Вместо умирающего человека здесь выступает государь, произносящий длинные прощальные речи, в которых он не забывает своих бояр: «Вы же, бояре мои, с вами Рускую землю держак, и вас во чти дрѣжах... и дети ваши жаловах, и во всех странах славен бых..., приказываю вам княгиню и дети своя».⁵¹ Новой переделке подвергся рассказ в Летописце начала царства, созданном при участии видного сподвижника молодого царя Ивана IV — Алексея Адашева (1552). Похвалы боярам были опущены, зато сообщалось, что отец вручил малолетнему Ивану вместе с крестом и скипетром «венец царский и диядимы царские, ими же венчан царь Маномах».⁵² Изложение по-прежнему оставалось торжественно-официальным, лишённым каких-либо конкретных деталей. После падения Адашева оказалась негодной и та версия рассказа о смерти Василия III, которая содержалась в Летописце начала царства, — Никонская летопись заменила ее рассказом Воскресенской летописи.⁵³ Но и на этом эволюция рассказа о последних днях Василия не закончилась. Последняя летопись Ивана IV — «Царственная книга», замкнув круг, вернулась к подробному рассказу свода 1534 г. Предсмертные речи Василия III были здесь дополнены новыми политическими наставлениями, значительно расширено и упоминание о регалиях Мономаха, но восстановлены и конкретные детали первоначального рассказа (правда, значительно «облагороженные»: разговор Василия с врачом приобретал «философский» характер, Елена не «кричала», а «слезы от очюю, яко струю, испущаше» и т. д.).⁵⁴

Интерес «Царственной книги» к детальному описанию последних дней Василия III был не случаен. Начинаясь с рассказа о болезни отца Ивана IV, летопись эта кончалась другой весьма сходной сценой — описанием болезни самого Ивана в 1553 г., когда царь давал последние распоряжения боярам, требуя от них присяги своему малолетнему сыну. Сходство обоих рассказов (уже отмеченное исследователями)⁵⁵ едва ли объясняется только совпадением ситуаций; скорее можно думать, что автор рассказа о событиях 1553 г. сознательно следовал рассказу о событиях 1533 г. Не меньше, чем его предшественник, ценил он и выразительные детали. «Коли вы сыну моему, Дмитрию, креста не целуете, ино то у вас иной государь есть!» — кричал в этом рассказе больной царь упрямым боярам. «А вы, Захарьины, чего испужалися? — взывал он к родственникам царицы. — Али чаєте, бояре вас пощадят? Вы от бояр первыи мертвецы будете! И вы бы за сына моего да и за матерь его умерли, а жены моей на поругание боярам не дали!»⁵⁶

Чтобы оценить литературное значение конкретных деталей «Царственной книги», следует иметь в виду, что рассказ о событиях 1553 г. вовсе не был бесхитростной записью «с натуры». Рассказ этот был написан значительно позже описанных в нем событий с явной целью очертить фигурирующих в нем бояр (уже попавших к тому времени в опалу).⁵⁷ Очевидно, автор рассказа сознательно пользовался художест-

⁵¹ ПСРЛ, т. VIII, СПб., 1859, стр. 285—286.

⁵² ПСРЛ, т. XXIX, М., 1965, стр. 9—10; ср.: ПСРЛ, т. XIII, М., 1965, стр. 75—79 (левая колонка).

⁵³ ПСРЛ, т. XIII, стр. 75—78 (правая колонка).

⁵⁴ Там же, стр. 409—420.

⁵⁵ И. И. Смирнов. Очерки политической истории Русского государства 30—50-х гг. XVI в. М.—Л., 1958, стр. 36.

⁵⁶ ПСРЛ, т. XIII, стр. 524—525.

⁵⁷ Ср.: Д. Н. Альшиц. Происхождение и особенности источников, повествующих о боярском мятеже 1553 г.—ИЗ, т. 25, М., 1948, стр. 266—292. Возражения, высказанные Д. Н. Альшицу другими исследователями (И. И. Смирнов. Очерки

венной деталью как средством, помогавшим сделать изложение более правдоподобным и убедительным для читателей.

Сосуществование и борьба различных повествовательных систем внутри летописания еще более затрудняет решение весьма сложного вопроса о значении летописания для развития древнерусского повествовательного искусства, об относительной роли историографических (хроникальных) и художественных элементов в летописи. Несомненно, что между этими двумя сторонами творчества летописца иногда возникала коллизия: наиболее достоверный рассказ не всегда отличался литературными достоинствами, а наиболее яркий — часто не был достоверен. Мы уже отмечали фольклорный и легендарный характер древнейших сказаний летописи — например, рассказов о смерти вещего Олега или о мести Ольги. «Плохая физика, но зато какая смелая поэзия!» — заметил Пушкин о переведенных им стихах из Корана. «Плохая „газетная хроника“, но зато какая прекрасная литература!» — можем мы сказать об этих эпических повествованиях.

Противоречие между ^{доисте}литературностью и художественностью можно наблюдать и в упомянутых выше рассказах о Куликовской битве. Наиболее близким по времени к битве и наиболее достоверным был, очевидно, рассказ Свода 1408 г. (Троицкой летописи). Оценивая Мамаево побоище как «победу великую», одержанную Дмитрием Донским, этот рассказ давал все основные сведения о сражении, казавшиеся важными для современников (перечисление важнейших воевод, павших в бою, боевых трофеев и т. д.). Летописная повесть «Новгородско-Софийского свода», легшая, как мы знаем, в основу большинства последующих летописных рассказов, добавила к первоначальному рассказу весьма мало новых фактических сведений. Распространение текста произошло здесь за счет введения чисто этикетных формул и сюжетных положений («смирение» Дмитрия и «ярость» Мамая и Олега, божественная помощь и т. д.). Еще дальше от событий 1380 г. отстоял популярнейший внелетописный памятник «Сказание о Мамаевом побоище», включенный в летописные своды (третья редакция Вологодско-Пермской летописи, Никоновская летопись) лишь в XVI в. Об относительно позднем происхождении этого рассказа свидетельствует ряд присущих ему несообразностей: уже в первоначальной редакции «Сказания» в роли союзника Мамая выступает уже умерший в 1380 г. Ольгерд (а не его сын Ягайло, как было в действительности); советником Дмитрия оказывается митрополит Киприан, которого не было в то время на Руси, и т. д.⁵⁸ В научной литературе отмечалась и явная тенденциозность этого памятника, связанного, очевидно, с Серпуховским княжеством.⁵⁹

политической истории Русского государства 30-х—50-х гг. XVI в., стр. 483—485; Н. Е. Андреев. Об авторе приписок в лицевых сводах Ивана Грозного. — ТОДРЛ, т. XVIII, М.—Л., 1962, стр. 125—126 и 138), не опровергают того факта, что подробное и детальное описание «смуты» 1553 г. и изменнических действий Курятева, Фуникова, Палецкого и других лиц в «Царственной книге» не могло быть записью очевидца, а представляло собой рассказ, составленный уже после опалы, постигшей этих лиц.

⁵⁸ Л. А. Дмитриев. К литературной истории «Сказания о Мамаевом побоище», стр. 415—423. Нам представляется справедливым вывод М. А. Салминой, основанный на текстологических наблюдениях над «Сказанием о Мамаевом побоище» и другими памятниками Куликовского цикла, что «Сказание» — памятник второй половины XV в. (работа М. А. Салминой еще не опубликована, но автор любезно ознакомил нас с нею). Еще более позднюю датировку «Сказания» предлагает В. С. Мингалев. Он относит его к 30—40-м гг. XVI в. (В. С. Мингалев. Сказание о Мамаевом побоище и его источники. Автореф. канд. дисс. М.—Вильнюс, 1971, стр. 12—13).

⁵⁹ М. Н. Тихомиров. Куликовская битва 1380 г., стр. 346, 370—372.

Но если подходить к рассказам о Куликовской битве не как к историческому, а как к литературному памятнику, то оценивать их придется совершенно иначе. Рассказ Свода 1408 г. — сухая хроника; в «Новгородско-Софийском своде» она несколько оживлена с помощью литературных трафаретов; в отличие от этих рассказов «Сказание о Мамаевом побоище» — выдающийся литературный памятник. Введя в повествование ряд ярких сцен, совершенно неизвестных предшествующему летописному повествованию (рассказ о засадном полке, решившем исход боя в трудный момент, об обмене одеждами между Дмитрием и Михаилом Бренком, погибшем в бою и первоначально принятом за Дмитрия), автор «Сказания» сделал свой рассказ по-настоящему увлекательным и обеспечил ему широкую популярность в последующие годы. Едва ли правы историки, использующие «Сказание» как точную хронику событий 1380 г., но интерес к нему литературоведов вполне оправдан.

Значит ли это, что «поэзия» и «правда» в древнерусском летописании всегда находились в противоречии? Такое заключение было бы слишком поспешным. Искусство древнерусского летописца, как мы уже видели, заключалось не только в использовании или создании художественного вымысла, но и в умении найти в подлинной действительности яркие и сильные детали. Многие рассказы летописцев (особенно рассказы неэтикетного характера, для которых не существовало привычных трафаретов), не вызывая никаких сомнений относительно достоверности и осведомленности авторов, отличаются при этом большой художественной выразительностью. На конкретных и очень ярких деталях быта построены, например, сатирические рассказы о бездарных и корыстных воеводах Василия Темного (например, рассказ о воеводе-взяточнике Беклемишеве), восходящие к оппозиционному летописному своду XV в., отразившемуся в Сокращенных сводах конца XV в. и Ермолинской летописи. Такой же характер имели и рассказы о сражении на Пьяне в своде 1408 г., и рассказ Н4Л (Строевский список) о поражении Новгорода в 1471 г.,⁶⁰ и разобранный выше рассказ о последних днях жизни Василия III. Но, как мы уже видели, наличие живых и конкретных деталей не означает еще, что перед нами — вполне достоверный рассказ очевидца: прекрасно понимая убедительность «сильной детали», древнерусские летописцы могли иногда и создавать их силой своей фантазии.

Таким образом, вопрос о летописании, как о литературном жанре или системе жанров, весьма сложен. Способность к художественному воспроизведению и творческому переосмыслению исторических фактов была свойственна летописанию на всем его протяжении, но вымысел в летописании далеко не всегда может рассматриваться как художественный вымысел; цели его обычно иные — политические и публицистические. Более «свободное» сюжетное повествование ушло из летописи вместе с эпическими преданиями: уже в XV в. оно получило развитие в иных жанрах письменности — в хронографе и отдельных повестях.

Главное назначение летописания — публицистическое и историческое; именно поэтому трудно говорить о «художественной структуре» летописных сводов в целом. При использовании летописи как источника для изучения эстетических воззрений древней Руси не следует забывать о назначении летописания: многие его особенности объясняются не особым «художественным мышлением» древнерусских людей, а конкретными политическими задачами, стоявшими перед летописцем. Однако специфиче-

⁶⁰ Ср.: Истоки русской беллетристики, стр. 272, 274—276.

ские цели летописания не отменяют его важнейшей роли в развитии художественного творчества древней Руси. Роль эта определялась прежде всего тем, что летописи были самыми обширными и развернутыми памятниками светского характера среди церковной по преимуществу древнерусской письменности. Целый ряд важнейших явлений в русской литературе XI—XVI вв. (абстрагирование и конкретизация, складывание и разрушение литературных канонов, разные пути сюжетного построения отдельных рассказов и т. д.) лучше всего может быть изучен именно на летописании. Для литературы древней Руси летописание оказалось своеобразной художественной лабораторией, где возникали прообразы жанров, получивших затем самостоятельное развитие, — посадской повести (возникавшей на фольклорной основе), исторической повести и даже бытовой сатиры XVII в.
